

ДВА ГОЛОСА

роман для чтения вдвоём

Пятьдесят семь лет.
Ни одного общего воспоминания.

АННА СОКОЛОВА

18+

Анна Соколова

Два голоса

«Автор»

2026

Соколова А.

Два голоса / А. Соколова — «Автор», 2026

Здесь два голоса. Мужской и женский. Каждая глава — один день их жизни, рассказанный дважды. Читайте вслух по очереди. Он читает то, что помечено «ОН». Она — то, что помечено «ОНА». Не заглядывайте вперёд: половина этой книги должна застать вас врасплох. Их версии не сходятся. Так и задумано.

© Соколова А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Как читать эту книгу	5
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Анна Соколова

Два голоса

Как читать эту книгу

Роман для чтения вдвоём.

Здесь два голоса. Мужской и женский. Каждая глава — один день их жизни, рассказанный дважды.

Читайте вслух по очереди. Он читает то, что помечено «ОН». Она — то, что помечено «ОНА». Не заглядывайте вперёд: половина этой книги должна застать вас врасплох.

Их версии не сходятся. Так и задумано.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЕЩЁ НЕ ЗНАЮТ

Глава первая

Ему восемнадцать. Ей восемнадцать.

ОН

Она соврала мне на второй минуте знакомства. Я узнал об этом через пятьдесят пять лет. Я вышел на крыльцо, потому что в доме было слишком много людей и все они были веселее меня. Она стояла у перил спиной ко мне.

— Там дышать нечем, — сказал я.

Она обернулась не сразу. С задержкой. За эту задержку я успел пожалеть, что открыл рот.

— Я жду человека, — сказала она.

Не «привет». Не «ага». Сразу — предупреждение.

Восемнадцатилетний я был трусом в девяноста случаях из ста. Это был как раз сто первый.

— Ну, подождём вместе.

И встал рядом. На расстоянии вытянутой руки, потому что тогда мне казалось, что вытянутая рука — это официальная единица приличия.

Мы молчали минуты три. Из дома кто-то заорал припев, мы оба дёрнулись и оба сделали вид, что не дёрнулись.

Потом пошёл дождь, и она не ушла в дом.

Вот что меня перевернуло. Не лицо, не голос — то, что она не ушла в дом. Отступила на полшага к стене и посмотрела на меня: ну а ты?

Я тоже отступил. Теперь между нами была не рука, а ладонь.

— Твой человек, кажется, не придёт.

Она засмеялась. Коротко, вниз, себе в ключицы.

— Кажется, нет.

Дальше два часа. О чём — не помню. Помню только, что она держала стакан обеими руками, как чашку, и что у неё были очень тонкие запястья, и что смотреть на них дольше секунды было почему-то нельзя.

— У тебя брат есть? — спросила она.

— Есть. Старший.

— Он лучше тебя?

Я даже растерялся.

— Все так считают.

— Ну и дураки, — сказала она.

Вот на этом месте у меня что-то щёлкнуло и кончился страх. Такое за всю жизнь было раза четыре. Просто выключается та штука, которая подсказывает, как ты выглядишь со стороны.

Я рассказал ей про собаку, которая умерла, когда мне было девять. Я никому это не рассказывал — ни до, ни, честно говоря, после. У меня в середине села голова, и я замолчал, и она ничего не сказала. Просто стояла рядом и молчала правильно.

Я не прикоснулся к ней. Ни разу, ни пальцем.

Мне на это понадобилось три недели. Я до сих пор не знаю, почему. Вернее, знаю: я был уверен, что если притронусь, всё немедленно кончится.

Шёл потом на станцию один, в мокрых кроссовках, и был счастлив так, как, наверное, больше никогда. Не сильнее — но и не слабее. Просто тогда для этого хватало мокрых кроссовок.

ОНА

Он думает, что заговорил первый.

Пусть думает. Я поняла это году на пятом и с тех пор ни разу не поправила. Мужчине бывает нужно помнить себя тем, кто сделал шаг.

Шаг сделала я. Просто он был такой длинный, что его не заметили.

Я смотрела на него час. Он вошёл последним, поздоровался со всеми сразу одним кивком, чтобы не здороваться с каждым, сел в угол и взял стакан.

И вот тут я пропала. Потому что он взял стакан неправильно.

Он держал его сверху, всей ладонью накрыв, будто тот может улететь. И весь вечер так и держал, и ни разу не поставил. Человек, которому некуда деть руки. Человек, который в чужом доме не уверен, что ему разрешили сидеть.

Я такая же. Просто я научилась это прятать лет на пять раньше.

Он вышел. Я досчитала до сорока — не до десяти, до сорока, я помню это число, потому что сорок это очень много, когда считаешь, — и вышла следом. Встала спиной к двери, чтобы он не подумал, что я вышла за ним.

Он не заговорил.

Я слышала, как он два раза набрал воздух и два раза не сказал. На третий я поняла, что он сейчас развернётся и уйдёт, — и обернулась сама.

— Я жду человека.

Господи, зачем.

Я не ждала никого. Никто вообще не знал, что я там. Это выскочило само — маленькая защитная ложь, чтобы не стоять перед ним голой. Чтобы у меня было алиби: я тут не ради тебя.

Я держала эту ложь пятьдесят пять лет. В первый год было стыдно признаваться, на пятый — уже смешно, на двадцатый — незачем. А на сорок пятый я поняла, что это единственное, чего он про меня не знает. Единственное. И мне стало жалко отдавать.

Он сказал «ну, подождём вместе» и встал далеко, как школьник на линейке, и я подумала: боже, какой хороший.

Про дождь он всегда рассказывает неправильно. Дождь пошёл раньше. Я потому и считала до сорока — ждала, пока начнётся, чтобы был повод стоять под навесом близко.

Вот такая я была в восемнадцать. Все думали — тихая.

Он отступил к стене, и я почувствовала его тепло боком. Не рукой — целой стороной тела, через два слоя мокрой ткани. И весь вечер думала одно: не двигайся, не спугни.

Он говорит, что не помнит, о чём мы говорили. Я помню всё. Про брата, которого всю жизнь ставили выше него. Про то, что он не хотел на этот факультет и не сказал матери. Про собаку.

Мне было восемнадцать лет, и я впервые держала в руках чужую жизнь. Я это поняла ровно в ту секунду и очень испугалась.

Он меня не тронул. Ни разу.

Я ждала так, что у меня к концу вечера болели плечи от ожидания. Каждый раз, когда он поворачивался, я думала — сейчас. И каждый раз — не сейчас.

Шла домой злая. Правда злая. Ну и трус, думала. Ну и пожалуйста.

А дома легла и пролежала до утра с открытыми глазами, и у меня всю ночь горел тот бок, которым я к нему стояла.

Три недели. Ему понадобилось три недели.

Я ни одной из них ему не простила и всю жизнь была за них благодарна.

Глава вторая

Ему восемнадцать. Ей восемнадцать.

ОН

Двадцать один день.

Я записал её номер в телефон в тот же вечер, в мокром тамбуре электрички, и подписал «дача». Не именем. «Дача». Как будто это склад стройматериалов.

И не звонил двадцать один день.

Не спрашивайте почему. Я сам двадцать лет потом не мог себе объяснить, а когда наконец смог, было уже неинтересно. Если коротко: я был уверен, что произошла ошибка. Что на том крыльце она разговаривала не со мной, а с каким-то парнем, которого придумала из темноты, и что стоит мне открыть рот при свете дня — ошибка вскроется.

У меня есть старший брат. Он у нас красивый, громкий и до сих пор всем нравится. Я вырос в доме, где гости, уходя, говорили матери: «Какой у тебя старший-то!» — и я стоял рядом. Меня не обижали. Меня просто не упоминали.

Так что я знал своё место. Девушки вроде неё разговаривают с такими, как я, один вечер. На спор или от скуки.

На третий день я написал сообщение. Стёр.

На пятый написал другое. Стёр.

На девятый брат увидел, как я сижу с телефоном, и спросил, чего я такой. Я сказал: ничего. Он посмотрел через плечо, увидел «дача» и заржал. Он не издевался даже. Он просто заржал, потому что ему было смешно, и сказал: «Ну ты позвони, может, даст».

Я после этого не звонил ещё двенадцать дней.

На шестнадцатый я увидел её в столовой. Она стояла с подносом, в трёх метрах, и посмотрела прямо на меня.

И прошла мимо.

Не отвернулась, не фыркнула. Просто прошла — так проходят мимо стены.

Я сидел над своим супом и чувствовал, как у меня горят уши, и думал: ну вот, я же говорил. Ошибка вскрылась.

А на двадцатый день была вечеринка в общежитии, куда меня позвали случайно, и она там была.

И с ней был парень. Высокий, из тех, кто разговаривает громко, потому что уверен, что это интересно всем. Он что-то рассказывал, она смеялась, и в какой-то момент он положил ей руку на поясницу.

Она не убрала.

Я вышел.

Дошёл до лестницы, спустился на пролёт и сел на подоконник между этажами. Сидел там минут сорок, курил чужие сигареты и вёл в голове взрослый мужской разговор с самим собой: ну и правильно, ну и пусть, ну и ничего не было.

Потом дверь наверху хлопнула, и она сбегала по ступенькам и остановилась.

— Ты уходишь? — сказала она.

— Ухожу.

— Понятно.

Она стояла на три ступеньки выше и смотрела сверху вниз, и мне это было унижительно.

— У тебя, я смотрю, всё нормально, — сказал я.

— У меня отлично.

— Заметно.

— Двадцать один день, — сказала она.

Я не понял.

— Что?

— Ничего.

Она развернулась, чтобы уйти наверх.

И я встал и поймал её за запястье.

Впервые. За двадцать один день — первое прикосновение, и я даже не выбирал, куда; рука сама схватила то, что было ближе.

Оно было тонкое и очень тёплое, и я почувствовал под пальцами, как у неё колотится пульс, — быстро, часто, совсем не как у человека, у которого всё отлично.

Мы оба замерли.

Я держал её за запястье, она стояла на три ступеньки выше, и мы молчали, наверное, секунд десять. За эти десять секунд у меня в голове не было ни одной мысли. Я потом всю жизнь пытался попасть в это состояние и попал раза три.

— Отпусти, — сказала она.

Я отпустил.

Она не ушла.

ОНА

Двадцать один день. Он думает, я сказала это в сердцах.

Я вела календарь.

Не в голове — на бумаге, в тетрадке по социологии, на последней странице. Ставила палочки. К концу второй недели палочек было столько, что я стала стыдиться собственной тетрадки и стала ставить их мельче.

Первые три дня я была спокойна. Мальчику надо выдержать паузу, я всё понимаю, у них там свои правила.

С четвёртого по седьмой я придумывала уважительные причины. Потерял телефон. Заболел. Уехал. Умер — да, на шестой день я всерьёз рассматривала вариант, что он умер, и мне от этого стало легче, вот до чего.

С восьмого я начала злиться.

К четырнадцатому я его почти вылечила. Я говорила подруге, что он никакой, что он всё время смотрел в пол и что от него пахло чужим одеколоном. Я говорила это раз шесть. Подруга на шестой раз сказала: «Ты мне это уже рассказывала». Вот тогда я поняла, что дело плохо.

В столовой я его увидела за секунду до того, как он увидел меня.

У меня была секунда решить. И я решила: пройти мимо.

Господи, как я шла. Я никогда в жизни так не ходила — прямо, ровно, с подносом, глядя строго вперёд, и у меня внутри всё кричало. Я села через два стола спиной к нему и не съела ни ложки. Просто сидела над тарелкой двадцать минут, чтобы не встать раньше него.

Он не подошёл.

И вот тогда я по-настоящему решила, что всё.

На вечеринку в общагу я пошла специально. Я знала, что он там будет, — мне сказали. И я надела то, в чём меня не узнавали.

И высокого этого я тоже выбрала специально. Он был совершенно пустой, он с первой минуты говорил только про себя, но у него был громкий смех, и его было видно от двери.

Когда он положил мне руку на поясницу, я чуть не отбросила её рефлексом. И удержалась. И оставила.

Мне двадцать лет за это было стыдно. Не за руку — за расчёт. Я в восемнадцать лет уже умела вот так, холодно, всё рассчитать, и это знание про себя мне никогда не нравилось.

Он вышел через минуту.

Я досчитала до тридцати. Не до сорока — до тридцати, я торопилась.

И побежала за ним.

Он сидел на подоконнике между этажами с чужой сигаретой — он не курил, я знала, что он не курит, и вот он сидел и курил, и у меня всё внутри обвалилось.

— Ты уходишь?

— Ухожу.

Скажи что-нибудь, думала я. Скажи хоть слово, и я всё прощу, всё, прямо сейчас, вот эти двадцать один день целиком, за одно слово.

— У тебя, я смотрю, всё нормально.

— У меня отлично.

— Заметно.

И я не выдержала:

— Двадцать один день.

Сказала — и сразу поняла, что отдала всё. Что теперь он знает. Что я считала.

Я развернулась уйти, и он схватил меня за руку.

Первое прикосновение за всю мою жизнь, от которого у меня подкосились ноги. Не поцелуй, не объятие — пальцы на запястье, довольно грубо, он потом извинялся, что грубо.

Я почувствовала, что он весь дрожит. Вот этот большой, мрачный, который двадцать один день меня не замечал, — он держал меня за руку и дрожал, как собака.

И мне стало его так жалко и так хорошо одновременно, что я испугалась.

— Отпусти, — сказала я.

Он отпустил сразу. Немедленно. Вот это было самое важное за весь вечер, и я поняла это уже тогда: он отпустил сразу.

И я осталась.

Мы просидели на этом подоконнике до половины пятого. Он ни разу больше ко мне не притронулся — трус, дурак, самый лучший.

Про брата он мне рассказал в ту ночь. Про то, как гости говорили матери «какой у тебя старший».

Я тогда ничего не ответила. А надо было сказать: я тебя выбрала, а не его, и выбрала за час до того, как ты открыл рот.

Я сказала ему это только в сорок лет. Слишком поздно. Он к тому времени уже построил себе целую жизнь на мысли, что его выбрали случайно.

Глава третья

Ему девятнадцать. Ей девятнадцать.

ОН

Квартира была Витькина. Витька уехал к матери на выходные и оставил ключи с лицом человека, который делает историческое одолжение.

Там было холодно. Батареи ещё не включили, и я весь вечер думал об одном: главное, чтобы она не замёрзла, потому что если замёрзнет, то уйдёт, и я буду виноват в том, что в октябре холодно.

Я купил вино, которое мне продали без вопросов, и оно оказалось такой дрянью, что мы оба сделали по глотку и больше не трогали.

И вот дальше я вам должен кое в чём признаться, и мне до сих пор, в семьдесят пять, немножко стыдно.

Я соврал.

Она в какой-то момент спросила — не в лоб, а как-то по касательной, между делом: «У тебя это который раз?»

И я сказал: «Ну, не первый».

Первый. Разумеется, первый. У меня руки тряслись так, что я не мог расстегнуть собственную рубашку.

Зачем я это сказал — не знаю. Мне казалось, что девятнадцатилетний мужчина обязан иметь за спиной какой-то опыт, иначе он не мужчина, а недоразумение. Я где-то это подхватил и тащил на себе, как мешок.

Дальше было плохо.

Я сейчас скажу честно, потому что эту книгу, я надеюсь, читают взрослые люди: в первый раз почти ни у кого ничего не получается так, как обещали. У нас не получилось.

То есть получилось, но криво, торопливо, с извинениями, и я в середине от ужаса вообще потерял всё, и была пауза, в которую я хотел умереть. Прямо физически, буквально: лечь лицом в подушку и не дышать.

Она в эту паузу не сказала ни слова.

Вот за это я, кажется, её и полюбил окончательно. Не за то, что она была добрая, — она бывала очень недоброй, вы ещё увидите. За то, что она в ту секунду промолчала правильно.

Она просто положила ладонь мне на затылок. И держала.

И через какое-то время всё наладилось само.

Потом мы лежали под двумя одеялами — я нашёл второе в Витькином шкафу — и она вся была в мурашках, и я водил пальцем по её плечу и смотрел, как они поднимаются.

— Холодно? — спросил я.

— Нормально.

— Врёшь.

— Вру.

Я тогда сказал первое, что пришло в голову:

— Все на той даче думали, что ты тихая.

Она засмеялась в темноте.

— А я не тихая?

— Ты самый громкий человек, которого я знаю, — сказал я. — Просто этого никто не слышит.

Она долго молчала.

— Повтори, — сказала она.

— Что повторить?

— Как ты меня назвал.

— Тихая.

И вот с той ночи — Тихая. Пятьдесят шесть лет.

Она была Тихой, когда мы расставались. Была Тихой в роддоме. Перестала быть Тихой на четырнадцать лет в середине, и это был плохой знак, но я его не понял. Потом снова стала.

Я произнёс это слово в последний раз при обстоятельствах, о которых напишу в конце. И она услышала.

ОНА

Он врёт, что не первый раз.

Он врал в девятнадцать, и он врёт сейчас, в этой самой главе, — я слышала, как он это читал, и он до сих пор не может просто сказать: было страшно.

Ладно. Пусть.

Я поняла всё на второй минуте. Не по неловкости — неловкость у всех. По тому, как он положил вещи.

Он снял рубашку и аккуратно повесил её на спинку стула. Аккуратно. В такой момент. Человек, который двенадцать раз в голове репетировал этот вечер и дошёл в репетиции до стула.

И я решила не мешать.

Это была первая большая работа в моей жизни: целую ночь делать вид, что я не замечаю. Я не сказала ни одного слова, которое могло бы его поймать. Я спросила «который раз» специально — чтобы дать ему соврать и закрыть тему. Я знала, что он соврёт. Мне надо было, чтобы он соврал и успокоился.

Женщины делают это постоянно. Вот прямо постоянно, всю жизнь, и мужчины об этом чаще всего не знают. Мы держим вашу версию себя, как держат под локоть.

В середине у него не получилось.

И вот тут была развилка на всю нашу жизнь. Я могла сказать: «ничего страшного» — и это была бы катастрофа. Я могла сказать «бывает» — катастрофа. Я могла погладить его по щеке — тоже катастрофа, я почему-то это точно знала.

Я положила руку ему на затылок и заткнулась.

Мне было девятнадцать лет. Откуда я это знала — не спрашивайте. Женщины знают такие вещи лет на десять раньше, чем начинают понимать.

Потом всё было хорошо. Не так, как в книжках, — но хорошо.

И вот что я вам скажу про первый раз, раз уж мы взялись за честность: главное в нём случилось не в кровати, а после.

После он не отвернулся.

Я до этого много чего слышала от подруг. Про то, как отворачиваются, как закуривают, как начинают говорить про пары в понедельник. А он лежал лицом ко мне, подпёр голову рукой и смотрел на меня, как смотрят на что-то, что можно потерять.

Мне было холодно и очень хорошо.

— Холодно?

— Нормально.

— Врёшь.

— Вру.

А потом он сказал эту вещь. Про то, что все на даче думали, что я тихая.

Он не знал, что попал в самое больное.

Я всё детство была «удобная». «Такая спокойная девочка». Мать говорила гостям: «с ней вообще никаких проблем». А я лежала ночами и орала внутри — про отца, про школу, про то, что меня никто никогда ни о чём не спросил.

И вот приходит девятнадцатилетний дурак, который на четверть часа раньше не мог справиться с пуговицей, и говорит: ты самый громкий человек, которого я знаю, просто этого никто не слышит.

— Повтори.

— Тихая.

Я плакала. Тихо, он не заметил, — ну или заметил и правильно сделал вид.

Он звал меня так пятьдесят шесть лет.

Было четырнадцать лет в середине, когда он не звал меня никак. Просто никак — ни по имени, ни Тихой, вообще без обращения. Я заметила это на третий год и молчала одиннадцать.

Но об этом позже.

Глава четвёртая

Ему девятнадцать. Ей девятнадцать.

ОН

Я взял её телефон посмотреть время.

Клянусь. Вот именно за этим. Мой сел, её лежал на столе, я взял, нажал кнопку — и на экране висело сообщение.

«Ну ты подумай хотя бы. К.»

Я его прочитал раньше, чем успел решить, читать мне его или нет. Это занимает полсекунды и потом не отменяется.

Дальше я сделал то, за что мне стыдно до сих пор: я открыл переписку.

Там было двадцать сообщений. Ничего особенного, если разбирать по одному. Проводил до общежития. Занял конспект. «Спокойной ночи». Вот это «спокойной ночи» — четыре раза за месяц.

Она вышла из ванной, вытирая голову, увидела меня с телефоном и остановилась.

— Ты чего делаешь?

— Кто такой Костя?

Тишина.

— Ты лазил в мой телефон.

— Кто. Такой. Костя.

— Ты лазил в мой телефон!

Вот так у нас всё и пошло. Два вопроса, друг друга не слышащие, — и это была, я теперь понимаю, генеральная репетиция следующих пятидесяти лет.

— Костя с нашего курса, — сказала она. — Он мне носит конспекты. И он мне не нужен, и он это знает, и ты это знаешь.

— Он пишет тебе «спокойной ночи».

— И что?

— Четыре раза за месяц.

— Ты посчитал?!

Я посчитал. Конечно, я посчитал. Я всё в этой жизни считаю: двадцать один день, четыре сообщения, потом будут годы и суммы на счетах, я такой человек.

Она стала красная.

— Ты понимаешь, что ты сейчас сделал? Ты понимаешь, что ты меня проверял?

— Я время смотрел.

— Не ври мне хотя бы сейчас.

Мы орали минут пятнадцать. Соседи стучали в стену. Я сказал, что если ей нужен кто-то, кто носит конспекты, то пожалуйста. Она сказала, что мне, видимо, нужна не девушка, а протокол. Я сказал, что она мне не ответила ни на один вопрос. Она сказала, что не обязана отчитываться.

А потом она вдруг села на кровать и сказала совсем другим голосом:

— Тебя не Костя мучает.

— А кто?

— Ты меня три недели не звал. — Она посмотрела на меня. — Ты до сих пор не веришь, что я тебя выбрала. Ты каждый день ждёшь, когда я опомнюсь.

Я не ответил.

Потому что ответить было нечего. Она была права на сто процентов, и это было так точно, что у меня перехватило горло.

— Я не буду всю жизнь доказывать, — сказала она.

И вот это оказалось враньём, потому что доказывать ей пришлось всю жизнь, и мне тоже, и по-моему, это и есть брак, но тогда мы этого не знали.

Мы помирились там же, зло, быстро, наполовину одетые, без единого слова. Я держал её лицо и не мог смотреть в глаза. Она один раз укусила меня за плечо — не ласково, а так, как кусают, когда больше нечего сделать.

Потом лежали в темноте.

— Я не буду извиняться за телефон, — сказал я.

— Знаю.

— Но больше не буду.

— Будешь, — сказала она.

Не был. Ни разу за пятьдесят шесть лет. Это единственное обещание, которое я сдержал буквально.

Костю она не удалила. Я проверил через год.

ОНА

Он проверил через год, я знаю. Он думает, я не знаю.

Костя был хороший мальчик, который был в меня влюблён, и я это прекрасно понимала, и — да, скажу правду — мне это было приятно.

Вот вам вся правда про девятнадцатилетнюю меня: у меня был человек, которого я любила до головокружения, и параллельно мальчик с конспектами, чьё «спокойной ночи» я читала перед сном и чуть-чуть грелась.

Я никогда ему ничего не обещала. Я ни разу не написала ему ни одного лишнего слова — можете проверить, там всё было стерильно. Но я не сказала ему «не пиши мне».

И вот это «не сказала» — оно и было тем, за что мне потом стало стыдно.

Не перед своим. Перед Костей. Мальчик год ходил за мной с конспектами, потому что я из тщеславия не потрудились произнести четыре слова.

А когда он влез в телефон — я взорвалась.

Знаете почему? Не потому, что было что скрывать. Потому что я в ту секунду поняла, что теперь я всегда буду под наблюдением. Что у меня больше нет своей территории. Мне девятнадцать, я четыре месяца как ушла от матери, которая читала мои дневники, — и вот он, тот же самый жест, только уже от любимого человека.

— Ты меня проверял!

— Я время смотрел.

Он врал плохо. Он всю жизнь врал плохо — кроме одного раза, про который будет глава девятнадцатая.

Мы орали, стучали соседи, и в какой-то момент я села на кровать, потому что у меня кончились силы.

И сказала то, ради чего, наверное, вообще была эта ссора.

— Тебя не Костя мучает. Ты три недели не звал. Ты до сих пор не веришь, что я тебя выбрала.

Он молчал.

Он молчал так, что я всё поняла. И у меня на секунду промелькнула очень взрослая, очень усталая мысль — в девятнадцать лет, представляете: господа, это же навсегда. Это не пройдёт. Я буду с человеком, который не верит, что его выбрали, и мне придётся говорить ему это каждые несколько лет до конца жизни.

Я не ошиблась. Ни на день.

Помирились мы сразу, потому что в девятнадцать лет мирятся сразу, тело не умеет держать обиду дольше часа. Это потом оно научится держать месяцами.

Я его укусила. Не знаю зачем. Мне нужно было оставить на нём хоть что-нибудь, что останется до завтра.

— Я не буду извиняться за телефон.

— Знаю.

— Но больше не буду.

— Будешь.

Он не стал. Ни разу.

И я, дура, сорок лет считала это доказательством доверия.

А это было не доверие. Он просто с того вечера решил, что лучше не знать.

Глава пятая

Ему двадцать. Ей двадцать.

ОН

Мать пекла пирог два дня. Это надо понимать сразу: два дня, с творогом, потому что творожный был у нас в доме парадным.

Она вообще готовилась. Достала сервиз, который доставали три раза в жизни. Надела брошку.

Я вёл её знакомиться с матерью и по дороге двадцать раз сказал: «Она нормальная, просто резковатая». Я это говорил, чтобы подстелить.

Первые полчаса всё было хорошо.

Потом мать спросила, кто её родители. Потом — сколько получает отец. Потом — снимаем ли мы и на чьи.

А потом, разливая чай, она сказала:

— А суп-то она варить умеет?

И я засмеялся.

Вот и всё. Вот вся глава, собственно. Я засмеялся.

Не потому, что мне было смешно. Потому что я двадцать лет прожил в доме, где над материными выпадами смеются — это был единственный способ их пережить. У нас так было заведено: мать говорит гадость, все смеются, мать довольна, гадость растворяется.

И я сделал то, что делал всегда.

— Научится, — сказал я. И засмеялся.

Она — моя, не мать — держала чашку и улыбалась. Ровно улыбалась, вежливо. И я даже подумал: ну вот, обошлось.

В автобусе она молчала.

— Ты чего?

— Ничего.

— Она не со зла. Она всем так. Она моему брату жену вообще три года не признавала.

— Я знаю.

— Ну и всё тогда.

— Ну и всё.

Она молчала до самой остановки, а на остановке сказала:

— Ты засмеялся.

— И что?

— Ты мог сказать одно слово. Одно. «Мам».

— Она бы обиделась.

— А я не обиделась?

— Ты взрослый человек, а она старая женщина.

И вот эту фразу — «ты взрослый человек, а она старая женщина» — я потом слышал от неё обратно раз, наверное, двести. Она мне её возвращала все пятьдесят лет, в самых разных ситуациях, и всегда по делу.

Она не кричала. В том-то и дело, что она не кричала.

Она просто сказала:

— Понятно.

И пошла домой пешком. Отказалась, чтобы я провожал.

Два дня мы не разговаривали. Я звонил — она брала трубку и отвечала вежливо. Вежливо — это было хуже всего.

На третий я пришёл к ней, сел на кухне в общаге, достал телефон и набрал мать при ней.

— Мам. Привет. Слушай, ты вчера про суп сказала. Не надо так больше.

Мать в трубке сначала не поняла. Потом поняла и включилась: что я имею в виду, что она такого сказала, что ей теперь, молчать в собственном доме, и вообще — ага, понятно, вот оно, началось, я же говорила.

Я выслушал. И сказал:

— Мам, я не спорю. Я просто прошу.

И положил трубку.

Я до сих пор считаю, что это был самый мужской поступок за все мои двадцать лет. Он занял минуту сорок.

Она сидела напротив и смотрела в стол. Потом встала, обошла стол и села мне на колени — молча, лицом в шею.

И заплакала.

Я тогда решил, что она плачет от радости, что я наконец за неё вступился.

Я ошибался, но узнал об этом лет через тридцать.

ОНА

Пирог был прекрасный. Я это говорю совершенно серьёзно: его мать пекла лучший творожный пирог, который я ела в жизни, и я потом двадцать лет пыталась его повторить, и не вышло ни разу, и она мне рецепт дала неполный — нарочно.

Первые полчаса я старалась. Я сидела прямо, отвечала полными предложениями, хвалила сервиз.

Я пришла её завоёвывать. У меня и мысли не было, что можно прийти просто так.

Она спросила, кто мои родители. Я ответила. Она спросила про отца — я ответила и про отца, хотя про отца отвечать было нечего хорошего. Она спросила, на чьи мы снимаем.

А потом — про суп.

И он засмеялся.

Я вам попробую объяснить, что со мной произошло в эту секунду, потому что снаружи не произошло ничего: женщина пошутила, мальчик засмеялся, чай разлит.

У меня внутри как будто выключили свет.

Я двадцать лет прожила в доме, где отец шутил, а мать смеялась. Всегда. Что бы он ни сказал. Он говорил ей при гостях такое, от чего мне в двенадцать лет хотелось провалиться, — а она смеялась и подкладывала ему салат.

И я всю юность обещала себе одно: я никогда не буду смеяться.

И вот я сижу за чужим столом, с чужой брошкой напротив, и смеётся — он.

Я допила чай. Я похвалила пирог. Я попросила рецепт.

В автобусе он спросил, чего я.

— Ничего.

Потому что как это объяснить? «Ты засмеялся» — звучит ничтожно. Двухлетняя девочка обиделась на шутку про суп. Меня бы саму засмеяли.

И всё-таки я сказала. На остановке. Я сказала: ты мог сказать одно слово.

— Она бы обиделась.

— А я не обиделась?

— Ты взрослый человек, а она старая женщина.

Вот тут я поняла, где я нахожусь. Мне двадцать лет, и мне только что объяснили правила: ты крепкая, она нет, поэтому терпеть будешь ты.

Я не стала спорить. Я пошла домой пешком, сорок минут, и всю дорогу вела с ним блестящий разговор, в котором побеждала.

Два дня я была ледяной вежливой стервой, и мне это очень нравилось.

А на третий он пришёл, сел и набрал мать при мне.

Я сначала не поверила. Я думала, он для вида. Я думала — сейчас скажет пару обтекаемых фраз.

А он сказал: «Не надо так больше».

Она в трубке начала на него наезжать — я слышала её голос через весь стол. И он не стал спорить. Он сказал: «Мам, я не спорю. Я просто прошу».

И положил трубку.

Я встала, обошла стол, села к нему на колени и заревела.

Он до сих пор думает, что от радости.

Я плакала от жалости. К нему. Потому что я в ту минуту увидела всё сразу: как ему было страшно. Как он весь сжался, пока набирал. Как у него дрожал голос на слове «мам». И я поняла, чего ему стоила эта минута сорок и что таких минут у него в запасе немного.

Я в тот вечер заключила сама с собой договор, о котором ему не сказала.

Я решила: я больше не буду просить его выбирать между мной и матерью. Никогда. Пусть у него будет мать, пусть я буду сама по себе, я сильная, я справлюсь.

Я держала этот договор тридцать лет.

И знаете, что я вам скажу на старости лет? Это было самое глупое решение в моей жизни.

Потому что он ведь мог. Он тогда, в двадцать, доказал, что мог. А я пожалела — и отобрала у него возможность быть на моей стороне, и он к этому очень быстро привык.

Я потом много раз вспоминала тот телефонный звонок.

Особенно в двадцать девять, когда моя собственная мать жила у нас третий месяц, а он молчал, и я ждала от него того же самого — одного слова, — и не дождалась.

Но это глава шестнадцатая.

Глава шестая

Ему двадцать. Ей двадцать.

ОН

Нам не хватало на комнату. Залог, месяц вперёд и комиссия — я помню сумму до сих пор, могу назвать цифру, но не буду, она вам ничего не скажет.

Я собрал две трети. Оставалась треть, и её негде было взять.

— Только не у моего отца, — сказала она. — Слышишь? Что угодно, только не у него.

— Я и не собирался.

Я пошёл к её отцу через четыре дня.

Один, не предупредив, в пятницу вечером. Я даже рубашку погладил — ту самую синюю, других у меня не было.

Он открыл, посмотрел на рубашку, всё понял с порога и очень обрадовался. Вот это я запомнил на всю жизнь: он обрадовался. Не деньгам, не гостю — он обрадовался тому, что я пришёл просить.

Он усадил меня на кухне. Он налил себе и мне. Он сорок минут рассказывал, как в моём возрасте работал на двух работах, а потом сказал:

— Сколько?

Я назвал.

Он достал деньги сразу. Они у него лежали в ящике под скатертью, он даже не вставал из-за стола, — то есть он всё это время знал, что даст, и просто сорок минут меня выдерживал.

— Держи. — И, когда я уже взял: — Смотри, отдавать будешь ты. Не она.

Я сказал: разумеется.

— Я серьёзно говорю. С неё я спрашивать не буду. Я с тебя спрошу.

Мы сняли комнату. Мы прожили в ней полтора года, и это были хорошие полтора года.

Отдать я должен был через три месяца. Не отдал.

Не потому, что не хотел. Просто трижды подряд случилась жизнь: слетела подработка, потом зубы, потом её сапоги, у неё не было зимних сапог, и я купил сапоги вместо того, чтобы отдавать.

Прошло пять месяцев.

И вот однажды я прихожу, а она сидит на кровати, и лицо у неё такое, что я сразу спросил, кто умер.

— Мне звонил отец, — сказала она.

— И?

— Он сказал: «Твой-то не отдаёт».

Тишина.

— Твой-то, — повторила она. — Понимаешь? Он звонил мне.

Я начал объяснять про подработку, про зубы, про сапоги. Она слушала с закрытыми глазами.

— Ты ходил к нему, — сказала она. — После того, как я попросила.

— У нас не было денег.

— Я тебя попросила об одной вещи за два года. Об одной.

— И что бы мы делали? Жили бы по общагам?

— Да! — заорала она. — Да, жили бы по общагам! Я бы жила по общагам десять лет, лишь бы он мне никогда в жизни не сказал «твой-то»!

Я тоже заорал. Я сказал, что она, оказывается, меня стесняется. Что ей, оказывается, важнее, что подумает папаша, который её же и втоптал. Что я взял эти деньги не себе, а нам, и что сапоги у неё, между прочим, на ногах.

Вот это про сапоги я зря сказал.

Она сняла их прямо там. Сняла и поставила передо мной.

— Забирай.

Мы не разговаривали четыре дня.

А потом я пошёл разгружать. Ночами, на овощной базе, с одиннадцати до шести, через день. Я не сказал ей. Я говорил, что подрабатываю у знакомого на складе, что там бумажки.

Два месяца.

Она узнала на седьмой неделе, потому что взяла меня за руку.

Просто взяла за руку, повернула ладонью вверх и замолчала.

Руки были такие, что я сам старался на них не смотреть. Всё содрано, всё в трещинах, под ногтями чернота, которая не отмывалась.

— Бумажки, — сказала она.

Она принесла таз. Села передо мной на пол, поставила мои руки в горячую воду и держала. Потом мазала чем-то из аптеки, долго, каждый палец отдельно, и ни слова не сказала.

Я сидел и ревел бы, если б умел.

В ту ночь у нас было так, как не было больше никогда за первые десять лет. Я не могу это описать словами, которые не были бы пошлыми. Скажу так: она весь раз держала мои руки. Не я её — она мои. Всё время, каждую секунду.

Отцу я отдал через три недели. Пришёл, положил на стол и ушёл, не сев.

Он мне потом двадцать лет, до самой смерти, при каждой встрече напоминал, что однажды меня выручил.

ОНА

Он думает, я его стеснялась.

Он так решил в тот вечер и, по-моему, так и не разубедился до конца, хотя я объясняла раз пятнадцать за пятьдесят лет.

Я не его стеснялась. Я его берегла.

Мой отец умел одну вещь в совершенстве: он умел давать. Он всю жизнь всем давал. Соседке — картошку, дядьке — на похороны, мне — на учебники. И потом всю оставшуюся жизнь этим владел.

Он никогда не кричал и не требовал вернуть. Он просто вставлял в разговор. «Ну, я-то помню, кто тебя в восьмом классе одевал». Через десять лет. Через двадцать.

Мать прожила с ним тридцать четыре года в вечном долгу и умерла должницей.

И я знала — вот знала совершенно точно, — что если он даст нам денег, то мой мужчина будет ему должен до самой могилы. Не деньги. Другое.

Я его попросила об одной вещи.

Он пошёл.

Я узнала не в тот же день. Я узнала через пять месяцев, из телефонного звонка, в котором отец не сказал ни одного грубого слова. Он сказал, что просто беспокоится. Что он не торопит. Что он всё понимает — молодые, трудно. И между всем этим, один раз, вскользь: «твой-то не отдаёт».

Он для этого и звонил. Ради двух слов.

Я положила трубку и сидела на кровати и думала: всё. Началось. Теперь это будет всегда.

Мы орали. Мы первый раз в жизни орали так, что я перестала себя контролировать, — до этого я всегда где-то внутри оставалась трезвой, а тут нет.

И он сказал про сапоги.

Вот это я ему не простила довольно долго. Года три.

Потому что сапоги были моё унижение, а не его подарок. Я всю зиму ходила в осенних и врала, что мне не холодно. И когда он их купил, я плакала в примерочной от стыда — не от счастья. А он вытащил это и положил на стол как аргумент.

Я разулась и отдала.

Четыре дня мы молчали, и я за эти четыре дня успела дойти до мысли, что мы расстанемся, и почти с ней смирилась.

А потом он устроился «к знакомому на склад».

Я не поверила ни на секунду. Он приходил в семь утра. От него пахло гнилой капустой. Он спал по четыре часа и один раз уснул стоя, прислонившись к косяку, — я это видела из кухни.

Я не стала его ловить.

Вот тут я, наверное, впервые в жизни поступила как жена, а не как девочка: я знала и молчала. Потому что понимала, зачем ему это враньё. Ему надо было отдать долг самому и никому не показать, чего это стоит.

Семь недель я делала вид.

А на седьмой не выдержала и взяла его за руку.

Господи, эти руки.

Я мыла их в тазу и не могла поднять голову, потому что если бы он увидел моё лицо, он бы всё бросил и начал меня утешать, а я не имела на это права.

И в ту ночь я держала его руки. Всё время. Он думает, что это была нежность.

Это была не нежность. Я держала их, потому что это были руки, которыми он отдавал долг моему отцу, и мне надо было, чтобы он это чувствовал каждую секунду.

Отец получил деньги и был очень недоволен.

Я поняла это по голосу в трубке на следующий день. Он был недоволен, что так быстро. Он рассчитывал года на три.

И он всё равно нашёл выход. Он двадцать лет говорил при гостях: «А я ведь их когда-то на ноги поставил».

Мой муж каждый раз молчал.

А я каждый раз вспоминала таз с горячей водой и думала: ничего. Ничего. Я одна знаю, чем ты за это заплатил, и мне этого достаточно.

Глава седьмая

Ему двадцать один. Ей двадцать один.

ОН

Меня не было на её дне рождения.

Вот главный факт моей биографии за двадцать один год. Всё остальное — подробности, которые никому не интересны.

Подробности такие. Я взял смену. Мне позвонили в четверг и предложили выйти в субботу за тройную — какой-то срочный завоз, — и я согласился, потому что мы тогда ещё догревали по деньгам после отцовского долга и потому что тройная это была тройная.

Я собирался успеть. Я честно рассчитывал: закончу в семь, к девяти буду.

Мы закончили в полночь.

Телефон сел ещё в начале смены, зарядки на базе не было, и я весь вечер работал с одной мыслью в голове: ничего, объясню.

Вот это — «ничего, объясню» — надо бы выбить у всех мужчин на лбу зеркально, чтобы каждое утро читали.

Я приехал к ней в час ночи.

Все уже разошлись. Она сидела на кухне общежития одна, в том платье, и на столе стоял торт, разрезанный на одиннадцать кусков, из которых было съедено девять.

— Телефон сел, — сказал я с порога.

Она кивнула.

— Я взял смену. За тройную. Я думал, до семи.

Она снова кивнула.

— Скажи что-нибудь.

— Я сказала им, что ты заболел, — сказала она. — Одиннадцать человек. Я одиннадцать раз повторила, что ты заболел, и я видела по лицам, что мне не верят, и всё равно повторяла.

— Ну прости.

— Ты знаешь, что самое смешное? — Она смотрела в стол. — Я весь вечер боялась не того, что ты не пришёл. Я боялась, что ты придёшь и увидишь, какие у меня жалкие друзья и какая жалкая кухня.

Я сел напротив.

— Я всё время тебя жду, — сказала она. — Двадцать один день ждала. Три месяца ждала, пока ты решишься с матерью. Пять месяцев ждала, пока ты отдашь долг. Сегодня шесть часов ждала. Я устала ждать, мне двадцать один год.

— Ну а что мне было делать? Отказаться от смены?

— Да.

— Мы бы жили на что?

— Не знаю, — сказала она. — Придумал бы.

И потом:

— Давай не будем.

Я спросил: что «не будем».

— Вообще, — сказала она. — Не будем вообще.

И вот тут я сделал то, за что расплачивался следующие полвека.

Я встал и ушёл.

Я даже не спорил. Я сказал что-то вроде «как хочешь» — я помню, что фраза была короткая и достойная, — и вышел.

Я шёл пешком через весь город и объяснял себе, что поступил правильно. Что настоящий мужчина не унижается. Что если человек говорит «не будем», надо уважать.

Мне было двадцать один год, и я был полный идиот.

Она не хотела расставаться. Это было не решение — это был крик. Она сказала «давай не будем» ровно для того, чтобы я сказал «нет».

А я сказал «как хочешь».

Я понял это не через год и не через десять. Я понял это в сорок с чем-то, в какой-то совершенно посторонний вечер, когда она при мне разговаривала с нашей дочерью по телефону и сказала ей: «Если он уходит с первого раза — значит, не твой».

Она не имела в виду меня. Она вообще про меня в ту минуту не думала.

А я стоял в коридоре и держался за стену.

ОНА

Я готовила три недели.

Я не умею праздновать. Я всю жизнь не умела, у нас дома дни рождения были поводом, чтобы отец выпил. Но в двадцать один мне вдруг захотелось.

Я хотела, чтобы он вошёл и увидел: вот мои люди, вот мой стол, вот я. Я хотела показать ему, что я не только его девочка, что у меня есть своё.

Одиннадцать человек. Торт я пекла сама и запорола корж, и пекла второй.

Первый час я смотрела на дверь через каждые три минуты. Потом стала смотреть реже, чтобы никто не заметил. Потом начала врать.

«Он заболел». Одиннадцать раз.

На третьем разе мне стало легче. На шестом я почти поверила сама. На девятом одна девочка — не подруга, случайная, с курса — посмотрела на меня и сказала: «Бедная».

Вот это «бедная» я не забыла до сих пор.

Они ушли в одиннадцать. Я осталась с тортом.

И у меня было два часа наедине с собой, и за эти два часа я всё сложила.

Двадцать один день. Смех за столом у его матери. Отец. «Твой-то не отдаёт». И вот теперь торт.

И я поняла одну вещь, которую формулировала потом всю жизнь по-разному: я всё время его жду, а он всё время где-то, где важнее.

Он пришёл в час ночи и с порога сказал про телефон.

Не «прости». Не «я идиот». Про телефон.

Мужчины почему-то уверены, что если объяснить причину, то обида отменяется. Как справка в школу.

Я сказала: давай не будем.

Я это сказала, глядя в стол, и у меня всё внутри сжалось в кулак и ждало.

Ждало одного: чтобы он сказал «нет».

Не «прости», не «я исправлюсь», ничего такого. Одно слово. «Нет». Сядь напротив, возьми меня за руки, скажи «нет, будем», и я растаю за полторы секунды, и мы доедим этот торт вдвоём.

Он сказал: «Как хочешь».

И ушёл.

Я сидела на кухне до утра и не плакала — вот что странно. Я сидела совершенно сухая и трезвая и думала: ну хорошо. Значит, вот столько я стою.

Заплакала я через девять дней, в автобусе, ни с того ни с сего.

Я много раз потом это прокручивала. Была ли я права.

Я была не права. Я устроила проверку, а проверки — это подлость, я это уже тогда понимала. Нельзя говорить «давай не будем», имея в виду «удержи меня». Нельзя предъявлять человеку счёт в виде ультиматума.

Но и он был не прав. И он был не прав сильнее.

Потому что уйти с первого раза — это не благородство. Это облегчение.

Он в ту ночь испытал облегчение, и я это знаю, потому что видела его спину в дверях. У виноватого человека спина другая.

Двадцать лет спустя я сказала это нашей дочери по телефону — что если он уходит с первого раза, значит, не твой.

Он стоял в коридоре и слушал. Я знала, что он стоит и слушает.

Я специально не понизила голос.

Глава восьмая

Ему двадцать два. Ей двадцать два.

ОН

Её звали хорошо. Ей всё в жизни давалось легко, включая меня.

Мы были вместе пять месяцев. Она ни разу на меня не повысила голос, ни разу не обиделась, ни разу не сказала «нам надо поговорить». Она варила суп и не спрашивала, умею ли я. Она смеялась над всеми моими шутками, включая несмешные.

Это было чудовищно.

Я тогда не понимал почему. Я думал, со мной что-то не так: вот тебе спокойная, добрая женщина, живи и радуйся. А я каждый вечер шёл к ней домой, как на работу.

Однажды ночью — в марте, я почему-то точно помню, что это был март, — она положила голову мне на плечо и сказала:

— Ты меня любишь?

И я сказал: да.

Вот это был худший поступок моей жизни. Не измена, не враньё про телефон, ничего из того, что будет дальше. Вот это.

Потому что я не соврал.

Я по-своему её любил. Она была хорошая, ей было двадцать три года, и она в меня верила. И я сказал «да», прекрасно зная, что через полгода уйду, и зная, что она это запомнит, и зная, что говорю это голосом, который приберегал для другого человека.

Я в ту ночь долго не спал. Лежал и делал в голове то, что делал весь тот год: спорил.

Я целый год вёл внутренний суд. Я собирал улики. Я вспоминал её лицо, когда она сказала «давай не будем», и говорил себе: вот, видишь, она первая. Она сама. Я тут ни при чём.

Двенадцать месяцев я доказывал сам себе, что я потерпевший, — и ни разу, ни одного раза за весь год не набрал её номер.

Один раз я её видел.

В ноябре, на улице, из окна маршрутки. Она шла с сумкой и с кем-то разговаривала по телефону и смеялась.

Маршрутка стояла на светофоре секунд двадцать. Я мог выйти. Дверь была открыта, люди выходили.

Я досчитал до двадцати и не вышел. Я даже помню, что считал, — вот, оказывается, мы оба всю жизнь считаем.

Потом она рассказала, что тоже меня видела в том году. Другой раз, в другом месте, и тоже не подошла.

Мы тогда посмеялись.

Мы очень зря посмеялись. Там смешного не было ни грамма.

ОНА

Его звали хорошо. Ему было тридцать четыре, и он был взрослый.

Вот это меня и купило — не деньги, хотя деньги были, и не то, что он водил меня в места, где я раньше не бывала. Меня купило, что он был взрослый.

Он никогда не забывал. Никогда не опаздывал. Он говорил «я заеду в восемь» и заезжал в восемь, и первые два месяца я от этого испытывала почти физическое наслаждение.

Он был внимательный. Он спрашивал, как прошёл день, и выслушивал ответ до конца. Он знал, какой кофе я пью.

И он не знал обо мне ничего.

Мы прожили — ну, «прожили» громко сказано, но мы были вместе довольно долго, — и за всё это время он ни разу не спросил ни одной вещи, на которую мне было бы трудно ответить.

Он собирал меня, как собирают сервиз: чашка, блюдце, вот и славно.

В ту ночь — ту самую, в марте, мы сравнили потом даты, и это действительно был примерно один и тот же месяц, хотя я не поручусь за неделю, — в ту ночь всё было очень правильно.

Он делал всё правильно. Он вообще всё делал правильно, он был опытный и внимательный мужчина.

И я в середине поймала себя на том, что смотрю в потолок и думаю про завтрашнюю пару.

Я потом ушла в ванную и сидела там на краю ванны минут пятнадцать.

Я плакала не от того, что мне было плохо. Мне было нормально. Вот именно — нормально, ровно, аккуратно, как в поликлинике.

Я плакала, потому что поняла: меня можно очень хорошо трогать и совсем не знать.

И ещё я поняла, что я умею быть с человеком, которого не люблю, и что мне это даётся легко. Вот это открытие про себя было самое неприятное. Я всегда думала, что я не такая.

Я вернулась из ванной и была с ним особенно ласкова, потому что была виновата.

Мужчины, если вы читаете вслух — запомните эту строчку. Когда женщина вдруг становится особенно ласковой без повода, это не всегда любовь. Иногда это компенсация.

Его я тоже видела один раз за тот год.

В ноябре. Из окна маршрутки — он думает, что это он меня видел, а на самом деле я его тоже.

Я шла с сумкой и болтала по телефону и, когда увидела его в окне, засмеялась специально. Громко, запрокинув голову, как не смеялась месяцев восемь.

Маршрутка стояла на светофоре. Я досчитала до двадцати.

Он не вышел.

Я дошла до угла, свернула и там прислонилась к стене, и меня трясло минут пять.

Мы потом посмеялись над этой историей.

Я никогда в жизни так не жалела, что засмеялась.

Глава девятая

Им по двадцать три.

ОН

Мы сошлись обратно в мае, и это было ни капли не романтично.

Никаких вокзалов, никаких «я всё понял». Мы встретились на похоронах общего знакомого — парень с нашего курса разбился на мотоцикле, — и стояли рядом, и потом поехали вместе на поминки, и потом он поехал меня провожать, а вернее, я её, а вернее, никто никого, мы просто три часа ходили.

Через одиннадцать дней она перевезла вещи.

Первые три недели было хорошо так, что страшно.

А на четвёртой я спросил.

Ночью, в темноте, самым спокойным голосом, каким только мог:

— Сколько у тебя было?

— Не надо.

— Просто скажи.

— Не надо, слышишь.

— Один?

Она молчала.

— Значит, не один.

— Один, — сказала она. — Два месяца.

И я, как дурак, выдохнул. Два месяца — это ерунда. Два месяца — это от скуки.

— А у тебя? — спросила она.

— Одна. Недолго.

Мы оба тогда соврали. Я знал, что вру, и много лет думал, что вру один.

Дальше надо было замолчать. Вот прямо тут, на этом месте, — замолчать и спать.

Я спросил, какой он был.

— Не буду отвечать.

— Старше?

Молчание.

— Насколько старше?

— Перестань.

— Насколько.

— Он был взрослый, — сказала она. — Он ни разу никуда не опоздал.

Я до сих пор считаю, что это была самая жестокая фраза, которую я слышал за свою жизнь, и я до сих пор не уверен, что она сказала её нарочно.

Я встал и вышел на кухню.

Я сидел там в темноте и у меня внутри работало что-то очень тяжёлое и очень тупое. Я представлял. Вот это самое страшное — я представлял, детально, помимо воли, и не мог остановиться.

Она пришла минут через двадцать, села на пол у моих ног и сказала:

— Давай мы этого не будем доводить до конца.

— Чего не будем?

— Этого разговора. Мы можем его сейчас довести до конца, и тогда мы всё узнаем, и тогда мы не выживем. Или мы его прямо сейчас бросим на середине и никогда не вернёмся.

Я молчал долго.

— Никогда? — сказал я.

— Никогда.

И мы не вернулись.

Пятьдесят два года. Ни разу. Ни в ссоре, ни спяну, ни в самые чёрные вечера — а чёрные были, вы ещё увидите, — мы ни разу не тронули тот год.

Это был лучший договор в моей жизни и, возможно, худший.

В ту ночь я был с ней грубее, чем когда-либо. Я не горжусь. Она поняла, зачем мне это, и позволила, и я до сих пор не знаю, что мне с этим знанием делать.

А потом я заплакал.

Первый раз при ней. Мне было двадцать три года, я лежал лицом в подушку и ревел, а она лежала сверху и держала мою голову двумя руками, как держат арбуз, чтобы не уронить.

— Тихая, — сказал я.

Первый раз за год и два месяца.

ОНА

Восемь месяцев.

Не два. Восемь.

Я сказала «два» не задумываясь, у меня вылетело автоматически, как у человека, который заранее приготовил ответ, — я действительно его приготовила, ещё в апреле, ещё до похорон, на всякий случай.

Восемь месяцев и ещё немножко.

Я держу эту цифру пятьдесят два года. Он читает сейчас вслух и не знает.

Он спросил, какой тот был, и я ответила плохо. Я ответила очень плохо, я это поняла в ту же секунду.

«Он ни разу никуда не опоздал».

Я не хотела ударить. Клянусь. Я просто не нашла ни одного нейтрального слова — у меня в голове про того человека было записано именно это, единственное, что его отличало.

Но когда я увидела лицо моего — я поняла, что попала туда, куда даже не целилась. В день рождения. В торт на одиннадцать кусков.

И знаете что? Мне на полсекунды стало хорошо.

Вот это я про себя и узнала в двадцать три года: что я умею бить и что мне бывает от этого сладко.

Я потом всю жизнь с этим боролась. Иногда проигрывала.

Он ушёл на кухню и сидел там в темноте.

Я лежала и слушала тишину и понимала, что сейчас решается всё. Что мы стоим на краю: ещё три вопроса — и мы разберём этот год по косточкам, и он узнает про восемь месяцев, и про то, что тот человек снимал мне квартиру, и про то, что я почти согласилась уехать с ним.

И мы не переживём. Не потому, что я виновата. Потому что он не переживёт, что я была нормальной женщиной без него.

Я пошла на кухню и села на пол.

— Давай мы этого не будем доводить до конца.

Я до сих пор считаю это самой умной фразой, которую произнесла за всю жизнь.

Люди почему-то верят, что в семье надо всё договаривать. Что правда лечит. Я вам скажу как человек, проживший с одним мужчиной пятьдесят с лишним лет: неправда.

Есть разговоры, которые надо бросить на середине и потом всю жизнь обходить, как яму во дворе. Вы её обходите машинально, вы про неё уже и не думаете, — но она есть, и вы оба знаете, где она.

В ту ночь он был со мной грубым.

Я знала, зачем. Он затирал. Он поверх того года писал своё, торопливо, чтобы не осталось.

Я позволила. Я не просто позволила — я ему помогла.

Пусть затирает, думала я. Пусть хоть так.

А потом он заплакал.

Вот тогда у меня всё оборвалось. Я никогда до этого не видела, чтобы плакал мужчина, — у нас дома отец не плакал даже на похоронах своей матери.

Я держала его голову и говорила какую-то чушь, и он сказал в подушку: «Тихая».

Год и два месяца я не слышала этого слова.

И вот что я вам скажу, и на этом закончим главу.

Я в ту секунду простила ему день рождения. Целиком, полностью, навсегда — за одно слово.

А он за свой день рождения так и не простил себя. Ни за что. Он его таскал на себе до глубокой старости, и последний раз мы про это говорили, когда ему было семьдесят.

Вот в этом мы с ним всю жизнь и различались.

Я умела прощать за одно слово.

Он не умел прощать вообще — в первую очередь себя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. БЫТ

Глава десятая

Ему двадцать три. Ей двадцать три.

ОН

Мы прожили вместе четыре месяца, и первый настоящий скандал у нас случился из-за кружки.

Я пришёл, скинул ботинки, сел. На столе стояла кружка. Моя, вчерашняя, с засохшим чаем.

— Ты её видишь? — спросила она из коридора.

— Кого?

— Кружку.

Я посмотрел на кружку. Кружка как кружка.

— Ну вижу.

— И?

Вот тут я совершил ошибку, за которую расплачивался следующие семнадцать часов. Я сказал:

— И что, мне сейчас встать?

Она вошла на кухню. Я по лицу понял, что кружка тут вообще ни при чём, но было поздно.

— Мусор ты тоже не видишь? Он с четверга стоит. Я его обхожу. Я его обхожу, как памятник.

— Я работаю.

— А я что делаю?

— Ты дома.

Я это сказал. Двадцать три года, идиот. «Ты дома». Два слова.

Она замолчала. Это было хуже, чем если бы закричала.

— Повтори, — сказала она.

— Я не то имел в виду.

— Повтори, что ты сказал.

— Я сказал, что ты дома. Это не оскорбление, это факт.

И она швырнула в раковину тарелку. Не в меня — в раковину. Тарелка не разбилась, что почему-то взбесило нас обоих ещё сильнее.

Дальше пошло по-настоящему. Она сказала, что я живу как в гостинице. Я сказал, что у неё мать такая же и я знаю, откуда это. Она сказала: не трогай мою мать. Я сказал: а ты мою неделю назад трогала. Она сказала: твоя мать заслужила. Я сказал что-то совсем уже.

Через двадцать минут мы стояли по разным углам кухни и тяжело дышали, как после драки.

— Я не буду тут прислугой, — сказала она.

— Тебя никто не просил.

— Просил. — Она посмотрела на меня прямо. — В субботу. При твоём Лёхе.

Я не понял.

— Что в субботу?

— Ничего, — сказала она. — Уже ничего.

И ушла в комнату.

Я сидел на кухне до половины первого. Я правда не понимал, что было в субботу. Я перебирал субботу как карман — ничего.

В час ночи я встал и начал мыть посуду.

Не из благородства. Мне просто некуда было себя деть. Я мыл всё подряд, включая то, что было чистое, отдраил плиту, вынес мусор в одних носках, вернулся и продолжил.

В два она вышла.

Я услышал, что она стоит в дверях, и не обернулся. Стоял с намыленной сковородкой и держал спину.

Она подошла и прислонилась лбом мне между лопаток. Молча. И стояла так, наверное, с минуту.

— Ты плохо моешь, — сказала она наконец.

— Я знаю.

— Здесь жир остался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.